



**АНДРЕ
БРЕТОН**

**ПСИХО-
ПАТЫ
ШУТЯТ**

АНТОЛОГИЯ ЧЕРНОГО ЮМОРА

Андре Бретон
Психопаты шутят.
Антология черного юмора
Серия «Юмор – это серьезно»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34119071

*Психопаты шутят. Антология черного юмора: Алгоритм; Москва;
2018*

ISBN 978-5-907028-13-5

Аннотация

«Всегда сваливай свою вину на любимую собачку или кошку, на обезьяну, попугая, или на ребенка, или на того слугу, которого недавно прогнали, – таким образом, ты оправдаешься, никому не причинив вреда, и избавишь хозяина или хозяйку от неприятной обязанности тебя бранить». *Джонатан Свифт* «Как только могилу засыплют, поверху следует посеять желудей, дабы впоследствии место не было бы покрыто растительностью, внешний вид леса ничем не нарушен, а малейшие следы моей могилы исчезли бы с лица земли – как, лышу себя надеждой, сотрется из памяти людской и само воспоминание о моей персоне». *Из завещания Д.-А.-Ф. де Сада от 30.01.1806 г.* В книгу вошли произведения, относящиеся к жанру черного юмора. Среди авторов люди, чья гениальность не вызывает сомнений, но,

как известно, чем больше талант, тем более человек и безумен... Авторами антологии черного юмора стали абсолютно гениальные и совершенно сумасшедшие: Д. Свифт, Маркиз де Сад, Эдгар По, Шарль Бодлер, Артюр Рембо, Пабло Пикассо, Франц Кафка, Сальвадор Дали и многие другие.

Содержание

Предисловие Бретона к изданию 1966 года	6
Громоотвод	8
Джонатан Свифт (1677–1745)	19
Наставления слугам	23
Скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества	27
Размышления о палке от метлы	36
Мысли о разных предметах, до морали и забавы относящихся[5]	38
Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад (1740–1814)	41
Жюльетта	47
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Андре Бретон
Психопаты шутят.
Антология черного юмора

© А. Бретон, С. Дубин (перевод), 2018

© ООО «ТД Алгоритм», 2018

* * *

Предисловие Бретона к изданию 1966 года

Книгу, которую вы держите в руках, от предыдущего издания отличает лишь незначительная редакторская правка. Содержание ее, напротив, вполне сознательно оставлено без изменений – даже с риском разочаровать отдельных читателей. Конечно, в последние несколько лет стало очевидным появление целого ряда авторов, чье творчество прекрасно вписывается в изначальную концепцию сборника, а потому требует к себе того же внимания. Так, например, велико было желание включить в состав Антологии работы Оскара Паницы, Жоржа Дарьена, Г. И. Гурджиева (представляющие ту грань его таланта, которую являет нам великолепное «Возникновение мыслей», открывающее «Рассказы Вельзевула своему внуку»), Эжена Ионеско или Джойс Мансур – однако автор отказался от подобного намерения, и по причинам вполне очевидным. Эта книга, впервые опубликованная в 1939 году и с незначительными дополнениями переизданная в 1947-м, отметила начало совершенно новой эпохи. Стоит вспомнить, что в момент ее появления слова «черный юмор» не имели ни малейшего смысла (если только ими не пытались обозначить особую форму насмешки, присущую исключительно африканцам!), и лишь с тех пор выра-

жение это появилось во всех толковых словарях; известно и то, сколь блестящей была судьба черного юмора в дальнейшем. Все свидетельствует о том, что это понятие находится сейчас в самом центре бурлящей актуальности, стремительно распространяясь как в устной форме («чернушные» анекдоты), так и в изобразительном искусстве (и особенно в иллюстрациях к некоторым газетам и журналам) и кино (по крайней мере там, где речь не идет о чисто развлекательной продукции). Тот факт, что настоящий сборник является одновременно и свидетелем эпохи ушедшей, и предвестником нового времени, избавляет его от сравнения с каким-нибудь беспрестанно обновляемым справочником или от сходства со смехотворным списком очередных лауреатов – ведь мало что так противоречило бы его истинному предназначению. Итак, перед вами – окончательный вариант «Антологии черного юмора»¹.

Париж, 16 мая 1966 г.

¹ В переводе С. Дубина

Громоотвод

*Предисловие можно назвать громоотводом.
Лихтенберг*

«Для настоящего комизма, – пишет Бодлер, – шипящего, точно петарда, взрывного и мгновенно охватывающего собою все вокруг – нужно, чтобы...»

Шипение и взрыв: я был потрясен, обнаружив, что эти же слова стоят по соседству у Рембо, и где! – в самом сердце стихотворения, просто-таки сверкающего черным юмором (по сути, это последние его стихи, где «ерничающее, окончательно сбившееся со всякого разумного пути вдохновение» с невиданной, неземной силой прорывается сквозь лихорадочные попытки утвердить себя – с тем лишь, чтобы тотчас же опровергнуть):

Дрема

*Вот голодуха, спасу нет,
Посылку съели – и привет...*

*Шипение, хлопок... Похоже, кто-то воздух портит.
И шепот: «Пахнет, как грюйер!».*

Что это – случайная встреча, невольный перифраз, сознательное заимствование, наконец? Для ответа необходим подробный – и авторитетный – анализ данного стихотворения (сложнейшего для понимания из всех, когда-либо написанных по-французски), однако до сих пор никто даже не приблизился к осуществлению такого анализа. Отмеченная переключка тем не менее оказывается по-своему весьма значимой, подсказывая, что обоих поэтов занимали размышления о той, условно говоря, грозовой погоде, когда только и может сверкнуть между людьми загадочный разряд юмористического наслаждения – разряд, важность которого неуклонно растет на протяжении последних полутора веков, да так, что лишь в нем одном видится сегодня суть любого сколь-либо примечательного интеллектуального промысла. В силу особой требовательности современного восприятия можно все с большей уверенностью утверждать, что поэтические и художественные произведения, научные труды, общественные и философские учения, лишенные этой разнovidности юмора, катастрофически оставляют желать лучшего и обречены рано или поздно на неизбежное вымирание. Перед нами не просто величина первого ряда – значение и влияние ее таковы, что она способна возобладать над всеми иными, а в перспективе и вывести их – окончательно и повсеместно – из употребления. Перо словно обжигает руку, страницы тлеют еле сдер-

живаемым огнем, а ветер одержимости то дует что есть силы в паруса, то злобно хлещет по лицу при одной лишь мысли о подробном исследовании этого типа юмора – хотя нам и удастся, с редкостным удовлетворением, отследить некоторые его проявления в литературе, искусстве и самой жизни. Пожалуй, именно совершенное владение юмором возносит человека на самый верх той пирамиды развития, о существовании которой – хорошо ли, плохо ли – каждый из нас по-своему догадывается: однако потому и не дается нам, и долго еще будет от нас ускользать общее, раз и навсегда данное определение юмора – ведь не зря говорят: «человек невольно обожествляет то, что находится за пределами его понимания». И если «даже самые совершенные умы, достигшие высших степеней инициации, – например, обладания магической формулой Высшего Знания, – не без труда способны были объяснить, как это божество может помыслить самое себя»² (Высокая Каббала, земная инициация Высшего Знания, ревниво оберегалась элитой посвященных), то соответственно не может быть и речи о том, чтобы растолковать юмор, поставить его на службу каким-либо практическим целям; подобные попытки равносильны стремлению вывести правила существования из действий самоубийцы. «Нет на свете ничего, включая даже само небытие, что умная шутка не сумела бы свести к взрыву хохота... Смех – одно из самых великолепных роскошеств,

² Пьер Пьюбб. Тайны богов. Венера. Р.: Daragon éd., 1909. – Прим. А. Бретона.

которое вплоть до проявлений поистине оргиастических все еще может позволить себе человек, – стоит на краю этого небытия, но выступает залогом уже самой бесконечности»³. Понятно, тем не менее, какую пользу мог бы извлечь юмор как из своего определения вообще, так из определения, только что приведенного, – в частности.

Не стоит удивляться, таким образом, что все те разнообразные исследования природы юмора, которые были приняты до настоящего времени, смогли принести лишь самые неприглядные плоды. На одном из таких опросов, – проведенном, отметим, из рук вон плохо – журналом *Adventure* в ноябре 1921 года, г-н Поль Валери дал следующий ответ: «Суть юмора невозможно расшифровать – иначе французы не твердили бы о нем на каждом углу. Однако слово это в ходу именно по причине той неопределенности, которую в нем подразумевают, – что, соответственно, и делает его столь удобным, коли случается заспорить о вкусах и пристрастиях. Смысл его меняется буквально с каждым новым упоминанием, да и сам-то смысл этот можно сложить только из всех тех высказываний и фраз, в которых это слово встречается и будет еще бесконечно встречаться». Что ж, такая возведенная в абсолют недоговоренность выглядит все же предпочтительнее многословия, которое демонстрирует нам г-н Арагон – похожее, задавшийся целью исчерпать в

³ Арман Петижан. Воображение и воплощение. Р.: Dénoël et Steele, 1936. – Прим. А. Бретона.

своем «Трактате о стиле» эту благодарную тему (а на деле лишь напустить в нее побольше туману); юмор, однако, не простил ему подобной дерзости и, надо отметить, мало к кому с тех пор поворачивался спиной столь решительно: «Вам угодно разобрать юмор по частям, как в анатомическом театре? Извольте! Вот растопыренная пятерня, которую обыкновенно тянут вверх – простите, мсье! – чтобы вставить словечко: чем вам не шевелюра? Глаза – два вафельных рожка для мороженого, а ушами станет пара милых охотничьих домиков. Правой рукой – необходимой, признайтесь, лишь для симметрии, – послужит нам Дворец правосудия, на место же левой возьмем то, что осталось однорукому, у которого как раз правую-то – ищи-свищи... Юмор бессмысленно искать в протертых супчиках, девицах на выданье и симфонических оркестрах, зато его хоть отбавляй у дорожных рабочих, и им битком набиты скрипучие лифты или дырявый шапокляк... Он то прошмыгнет по иконостасу кухонной утвари, то вынырнет в омуте дурного вкуса, то удалится на зимние квартиры – в царство моды... Куда он так несется? За солнечным зайчиком. Его дом? Крошка Сен-Тома. Настольная книга? Некто Бине-Вальмер. Маленькие слабости? Сумерки, но только хорошо свернувшиеся в глазунью. Не чужд он иногда и некоторой сухости – короче, сильно смахивает на оружейный прицел», и прочая, и прочая... Что тут сказать? Исправно слепленное домашнее задание усидчивого пригостишки, который ткнул в тему,

словно пальцем в небо, да только о юморе, кроме как со стороны, судить попросту неспособен. Все это фиглярство, повторюсь, — не больше чем очередная увертка. Ближе других к пониманию сути вопроса подошел, наверное, Леон Пьер-Кен, в своей книге «Граф де Лотреамон и Бог» представивший юмор способом утверждения не только «абсолютного бунта подростка и внутренней непокорности взрослого», но и — шире — высшего мятежа разума.

Для настоящего юмора нужно, чтобы... пожалуй, вопрос этот все еще остается открытым. Можно, однако, с уверенностью заключить, что огромный шаг в понимании сути юмора мы сделали благодаря Гегелю и созданному им понятию объективного юмора. По его словам, «романтическое искусство с самого начала характеризовалось более глубоким раздвоением удовлетворенной в себе внутренней жизни, которая находится в состоянии разорванности или безразличия к объективному, ибо объективное вообще не соответствует существу в себе духу. Эта противоположность развивается все глубже по мере развития романтического искусства, занятого либо случайным внешним миром, либо не менее случайной субъективностью. Удовлетворенность внешним содержанием и внутренней субъективностью возрастает и приводит, согласно принципу романтического искусства, к углублению души в предмет. С другой стороны, юмор, схватывая объект и его формирование в рамках своего субъективного отражения, проникается

внутри предмета и становится тем самым как бы объективным юмором». Мы же, со своей стороны, могли только констатировать⁴, что на сверкающей дороге к грядущему черный сфинкс объективного юмора неизбежно встретится с белым сфинксом объективного случая, и все то, что суждено будет в дальнейшем создать человечеству, может родиться только из этих объятий.

Заметим вместе с тем, что выстроенная Гегелем иерархия искусств (поэзия, как единственное действительно универсальное искусство, возвышается надо всеми прочими, своей образностью и ритмом задавая существование остальных, так как лишь она одна способна передать жизненные ситуации в непосредственном развитии) служит достаточным объяснением тому, что занимающая нас разновидность юмора нашла свое проявление в поэзии значительно раньше, нежели, допустим, в живописи. На большинстве полотен прошлого, которые могли бы так или иначе быть отнесены к этому типу юмора, самым плачевным образом сказывается сатирический или нравоучительный настрой их авторов, отчего эти картины неизбежно вырождаются в чистую карикатуру. Некоторое исключение хочется сделать разве что для работ Хогарта или Гойи и выделить особо еще нескольких художников, у которых юмор скорее еще только намечается, робко предполагает-

⁴ «Политическое положение сюрреализма» (1935), очерк «Сюрреалистическое положение предмета». – Прим. А. Бретона.

ся, – таковы, например, большинство картин Сёра. Думается, в сфере изобразительных искусств торжество свободного от примесей и четко бьющего в цель юмора приходится на период, расположенный куда ближе к нашему времени, а первым – и поистине гениальным – его творцом следовало бы признать мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посаду, который в своих замечательных лубочных гравюрах оживляет для нас перипетии революции 1910 года (о том, как юмор от размышлений переходит к действию, могут, помимо этих работ, рассказать и парящие над страной тени Вильи и Фьерро – Мексику с ее замозильными игрушками вообще можно назвать землей обетованной для черного юмора). С тех пор юмор самодержавно царит на живописных полотнах, и его черная трава тихо похрустывает всюду, куда только несет обрученных с ветром коней Макса Эрнста. В рамках этой книги упомянем лишь о трех его романах-«коллажах» («Безголовая о ста головах», «Сон маленькой девочки, мечтавшей сделаться кармелиткою» и «Пасхальная неделя, или Семь первородных стихий») – высшем и одновременно уникальном воплощении юмора в живописи.

Что же касается встречи юмора и кино – не только, подобно поэзии, воспроизводящего развитие жизненных ситуаций, но и пытающегося связать их в некое единое полотно, – то она очевидна и, пожалуй, изначально была predeterminedена уже хотя бы тем, что кино, пытаясь растро-

гать зрителя, просто обречено прибегнуть к крайности и бурлеску. Первые комедии Мака Сеннета и несколько фильмов Чаплина («Шарло уносит ноги», «Пассажир»), незабвенные Фатти и Пикратт командуют парадом, стройные шеренги которого ведут нас к быстро забытым, но от того не менее блистательным «Ногам за миллион долларов» и «Расписным пряникам», и дальше, к тем вылазкам в пещеры подсознания – а это гроты почище фингаловых или поццуольских! – которым, без сомнения, являются «Андалузский пес» и «Золотой век» Бунюэля – Дали, а также «Антракт» Пикабия.

«Давно пора бы, – пишет Фрейд, – познакомиться поближе с основными характеристиками юмора. В юморе есть не только нечто раскрепощающее – в этом он схож с остроумием и комическим, где удовольствие также тесно связано с умственной активностью – но и что-то величественное, возвышенное, чего в этих других двух видах наслаждения нам уже не отыскать. Величественность эта связана, разумеется, с триумфом нарциссизма – победы, самоутверждения неуязвимого отныне Я. Теперь Я не уступает ни пяди собственной земли, над ним не властны страдания внешнего мира, и ему чужда сама мысль о том, что они вообще могли бы его растрогать; мало того – похоже, это даже доставляет ему удовольствие». Пример, которым Фрейд поясняет такую самовлюбленную глухоту Я, грубоват, но красноречив: понедельник, осужденного ведут на виселицу, и

тот роняет: «Ничего себе неделька начинается!». Известно, что Фрейд, анализируя юмор, видел в нем аналог принципа экономии, уберегающего от вызванной страданием психической затраты. «Этой незначительной приятности мы почему-то склонны приписывать огромное значение, словно бы чувствуя, что ей под силу освободить нас, вознестись над тревожениями реальности». По Фрейду, разгадка юмористического отношения к миру кроется в необычайной способности отдельных индивидуумов переносить в случае угрозы психический акцент со своего Я на Сверх-Я, изначально наделенное родительской, надзирающей властью (оно «...обыкновенно строго контролирует Я, и отношения их неизбежно напоминают отношения отцов и детей»). Нам показалось небезынтересным сопоставить с этим утверждением целый ряд персональных точек зрения, так или иначе юмором вдохновленных, а также текстов, где этот юмор получил свое наивысшее литературное воплощение. Поскольку целью такого сопоставления видится утверждение некоей общей и универсальной позиции, мы сочли возможным для большего удобства пользоваться на всем протяжении нашего рассказа именно тем словарем, что предложил в свое время Фрейд, – оставив в стороне возражения, которые может вызвать его пусть вынужденное, но от этого не менее искусственное разделение психики на Я, Сверх-Я и Оно.

Мы не пытаемся отвести от себя упреки в предвзято-

сти, которая, наверное, действительно чувствуется в составлении настоящего сборника, — думается все же, сделанный выбор является в данной ситуации единственно возможным. Опасаться или сожалеть стоило бы скорее о другом — о недостаточной требовательности. Чтобы сразиться на черном турнире юмористов, надо пройти не одно предварительное испытание. Теснят же черный юмор со всех сторон — здесь и глупость, и скептическая насмешка, и беззаботная шутка (перечень может быть сколь угодно длинным), но по-настоящему бороться, пожалуй, стоит лишь с тщедушной и малокровной сентиментальной, бесконечно витающей в облаках, — да, еще пожалуй, с тем особым типом фантазий-однодневок, которые бойко выторговывают себе звание поэзии и без толку бьются над тем, чтобы соблазнить наш разум своими куцыми прелестями: можно только надеяться, что уже недолго им осталось, вместе с прочей сорной травой, тянуть к солнцу свои ощипанные гусиные шеи.

Джонатан Свифт (1677–1745)

Судя по всему, подлинная история черного юмора начинается именно со Свифта. Более ранние проявления этого феномена, порой мелькающие, например, у Гераклита, киников или английских драматургов елизаветинских времен, выглядят в этом смысле слишком уж разрозненными и разнородными. Неоспоримая самобытность Свифта, удивительная цельность его творчества, до последней буквы подчиненного тому неповторимому и практически неведомому дотолем переживанию, которое он способен вызывать, а также поистине непревзойденный характер самых разных его удач и свершений – все это вполне оправдывает исторически отводимую ему здесь пальму первенства. Вопреки мнению, пущенному в оборот Вольтером, меньше всего походит он на «улучшенного Рабле». Сравнение с Рабле и его грубоватой, но незлобивой шуткой весельчака-выпивохи вообще может быть последним из всех, какие только приходят в голову; самого же Вольтера со Свифтом разделяет отношение к извечному спектаклю бытия, удачно отраженное их человеческими обликами, и если в одном застыла усмешка человека, словно окуклившегося в собственном скептицизме, человека не чувства, а разума, то в другом – невозмутимость, ледяное спокойствие того, кто чувствует совсем иначе и именно потому земным порядком неизменно возмущен. Кто-то од-

нажды сказал, что Свифт «заставляет рассмеяться, сам держась от этого веселья в стороне». Наверное, только ценной подобных лишений тот юмор, о котором мы здесь говорим, и способен обнажить присущую ему по Фрейду возвышенность и вырваться за рамки обыденного комизма. В этом смысле Свифт также может быть с полным правом назван изобретателем новой разновидности шутки – жестокой и мрачной. До крайности своеобразный строй мысли вдохновляет многие из его притч и рассуждений – наподобие «Философии одежды» или «Размышлений о палке от метлы», – которые поразительным образом оказываются созвучными самым современным умонастроениям, и их одних достаточно, чтобы подтвердить непреходящую актуальность всего его творчества.

Говорят, взгляд Свифта был таким подвижным, что цвет его глаз мог меняться от небесно-голубого до бездонно-черного, а их выражение – от простодушного к устрашающему. Подобная переменчивость превосходно согласуется с его мироощущением: «Мне всегда были ненавистны, – пишет он, – разного рода нации, ремесленные касты и прочие сообщества; по-настоящему любить я мог лишь то или иное конкретное существо, и при том, что я всем сердцем привязан к какому-нибудь Джону, Питу или Томасу, собственно животное, именуемое человеком, внушает мне лишь ужас и отвращение». Это мало с чем соизмеримое презрение Свифта к роду человеческому не мешает ему, однако,

исступленно желать для него справедливости. Он мечется между дублинскими дворцами и своим маленьким приходом в Ларакоре, мучительно пытаясь разрешить – создан ли он для того, чтобы ухаживать за зебрами и умиротворенно наблюдать прыжки форели в собственном пруду, или же призван участвовать в делах государственных. Словно против воли, чаще он выбирает последнее и вмешивается в ход истории со все нарастающим усердием и активностью. О нем говорили: «Этот ирландец, называющий свою страну местом очередной ссылки, не в силах, тем не менее, обосноваться где-либо в ином краю; этот ирландец, для которого родина – лишь мишень для злой шутки, швыряет ей на помощь все свое состояние, свободу и даже саму жизнь, и вот уже без малого сотню лет спасает ее от того рабства, которое уготовила ей Британия». И точно так же этот женоненавистник, автор «Письма одной чрезвычайно юной особе по поводу замужества», в собственной жизни вынужден иметь дело с чувствами самыми что ни на есть запутанными: три женщины, Варина, Стелла и Ванесса, оспаривают друг у друга его любовь, а он, самым оскорбительным образом разорвав отношения с первой, позже обречен наблюдать за терзаниями двух других, сошедших в могилу, так его и не простив. Священник, от одной из них он получает следующие строки: «Будь я действительно набожной, вы стали бы тем Богом, которому бы я молилась». До самой его смерти мизантропия оставалась той единственной

чертой, которую он не пытался в себе подавить даже под гнетом житейских обстоятельств. Однажды, указывая на расщепленное молнией дерево, он сказал: «Вот так же кончусь и я – с головы». И действительно, словно ведя к «той божественной разновидности счастья, имя которой – легковёрность, к просветленному умиротворению безумца среди подлецов», в 1736 году его настигает умственное расстройство, но целых десять лет до полного сумасшествия проходят при ужасающей ясности ума. В своем завещании он оставил десять тысяч фунтов на учреждение приюта для умалишенных.

Наставления слугам

Пер. Е. Лопыревой

«...» Господа обычно ссорятся со слугами из-за того, что те не закрывают за собой дверей; но ведь ни хозяин, ни хозяйка не понимают, что дверь должна быть открыта, прежде чем ее можно будет закрыть, и что это двойной труд – открывать и закрывать двери; поэтому лучше, и проще, и легче не делать ни того, ни другого. Однако, если к тебе все время пристают, чтобы ты закрывал дверь, и об этом уж трудно забыть, тогда, выходя, так хлопни дверью, чтобы вся комната затряслась и все в ней задрезжалось; это покажет твоим господам, как ты старательно выполняешь их указания.

Заметив, что входишь в милость к хозяину или хозяйке, не упусти случая мягко предупредить об уходе; и когда тебя спросят о причине и выкажут нежелание расставаться с тобой, отвечай, что ты предпочел бы жить у них, чем у кого-нибудь другого, но что бедного слугу нечего упрекать, если он хочет себе добра, что службой богат не станешь, что работы у тебя много, а жалованье получаешь маленькое.

Тут, если твой хозяин хоть сколько-нибудь щедр, он прибавит тебе пять-десять шиллингов за четверть года, лишь бы не отпускать тебя; но если ты промахнешься в расчете, а уходить тебе не захочется, то попроси кого-нибудь из твоих приятелей-слуг сказать хозяину, что ему-де удалось уговорить

тебя остаться.

Разные лакомые кусочки, которые тебе удастся стянуть в течение дня, сберегай до вечера, чтобы устроить пирушку со своими собратями; позови и дворецкого, если, конечно, он принесет выпивку.

Напиши копотью свечки свои имя и имя своей милой на потолке кухни или людской, чтобы показать свою ученость.

Если ты молод и пригож, то когда за столом шепчешь что-нибудь хозяйке, тычешься носом в ее щеку; а если у тебя свежее дыхание, дыши ей прямо в лицо; я слышал, что в некоторых домах это приводило к отличным последствиям.

Не иди, пока тебя не позовут три-четыре раза; ведь одни собаки бегут, как только их свистнут. А когда хозяин крикнет: «Эй, вы!» – то уже никто из слуг не обязан идти на этот зов, потому что «Эй!» ведь не имя <...>

<...> Некоторые привередливые дамы, опасаящиеся простуды, замечали, что кухонные девушки и парни часто забывают закрывать за собой дверь, выходя на задний двор и возвращаясь обратно; эти хозяйки придумали прикреплять к двери блок с веревкой, на конце которой привязан большой кусок свинца, тогда дверь закрывается сама, и надобно сильно толкать ее, чтобы она открылась; это – тяжелый труд для слуг, которым по их работе приходится входить и выходить через эту дверь по пятьдесят раз в день; однако до чего не додумается изобретательный ум? И предусмотрительные слуги нашли отличное средство против этого несносно-

го злополучия: они догадались подвязывать блок таким образом, чтобы свинцовый груз не действовал. Что же до меня, то я предпочел бы держать дверь всегда открытой и для этого класть внизу тяжелый камень.

Подсвечники у слуг обыкновенно поломаны: ведь ничто не может держаться вечно. Однако взамен их можно изобрести многое другое: ты можешь с удобством воткнуть свечку в бутылку, приклеить ее к столу, накапав сала с нее же, прилепить ее к деревянной обшивке стены куском масла, сунуть ее в пороховницу, или в старый башмак, или в расщепленную палку, или в дуло пистолета, или в кофейную чашку, или в стакан, а то – в кружку, в чайник, в скрученную салфетку, в горчишницу, в чернильницу, в полую кость, в кусок теста, да, наконец, можно просто вырезать дыру в ковриге хлеба и воткнуть свечку туда.

Приглашая к себе приятелей вечером на пирушку, научи их стучаться условным стуком или скрестись у кухонного окна так, чтобы ты-то слышал, а хозяйка – нет: ты должен стараться не беспокоить и не пугать ее в такой неподобающий час.

Всегда сваливай свою вину на любимую собачку или кошку, на обезьяну, попугая, или на ребенка, или на того слугу, которого недавно прогнали, – таким образом, ты оправдаешься, никому не причинив вреда, и избавишь хозяина или хозяйку от неприятной обязанности тебя бранить.

Когда тебе понадобятся инструменты для какой-нибудь

работы, то чем оставлять ее несделанной, лучше действуй любым предметом, каким вздумается. Например, если ко-черга куда-то запропастилась или сломалась – мешай в камине щипцами, нет под рукой щипцов – мешай мехами для раздувания огня, ручкой совка, палкой щетки или швабры, а то и хозяйской тростью. Если нужна бумага, чтобы опалить птицу, рви первую попавшуюся на глаза книгу.

Вытирай башмаки за отсутствием тряпки краем занавески или камчатой скатертью. Галуны с ливреи оборви себе на подвязки. Если дворецкому нужен ночной горшок, он может воспользоваться большим серебряным кубком.

Есть много способов тушить свечу, и тебе следует запомнить их все: можно ткнуть концом свечи в деревянную обшивку стены – от этого свеча тухнет сразу; можно положить ее на пол и затоптать огонь ногами; можно перевернуть ее пламенем вниз, чтобы оно затухло от стекающего сала; сунуть ее горящим концом в гнездо подсвечника или размахивать ею в воздухе, пока она не потухнет; помочившись перед сном, ты можешь окунуть ее в ночной горшок; можешь также, поплевав себе на пальцы, крутить ими фитиль, и свеча потухнет. Кухарка может окунуть свечу в котел с варевом, а конюх – ткнуть ее в корыто с овсом, или в охапку сена, или в кучу навоза; служанка может тушить свечу о зеркало – ничто так не чистит зеркала, как свечная копоть; но самый скорый и лучший из всех способов – это задуть ее, – свечка останется чистой, и ее легко зажечь снова <...>

**Скромное предложение, имеющее
целью не допустить, чтобы дети
бедняков в Ирландии были в
тягость своим родителям или
своей родине, и, напротив, сделать
их полезными для общества**

Пер. Б. Томашевского

Печальное зрелище предстает перед теми, кто прогуливается по этому большому городу или путешествует по стране, когда они видят на улицах, на дорогах и у дверей хижин толпы нищих женщин с тремя, четырьмя или шестью детьми в лохмотьях, пристающих к каждому прохожему за милостыней. Эти матери, не имея возможности честным трудом заработать себе на пропитание, вынуждены все время блуждать по улицам, вымаливая подаяния для своих беспомощных младенцев; а те, когда вырастают, или становятся ворами за отсутствием работы, или покидают любимую родину для того, чтобы сражаться за претендента на трон в Испании, или же продают себя на Барбадос.

Я думаю, все партии согласны с тем, что такое громадное количество детей на руках, на спине или под ногами у матерей, а часто и у отцов, представляет собой лишнюю обузу для

нашего королевства в его настоящем плачевном положении. Поэтому всякий, кто мог бы изыскать хорошее, дешевое и легкое средство превратить этих людей в полезных членов общества, вполне заслужил бы, чтобы ему воздвигли памятник как спасителю отечества.

Но моя задача отнюдь не ограничивается заботой о детях одних только профессиональных нищих; она гораздо шире и распространяется вообще на всех детей определенного возраста, родители которых, по существу, так же мало способны содержать их, как и те, кто просит милостыню на улицах.

Со своей стороны, обдумывая в течение многих лет этот важный вопрос и зрело взвешивая некоторые предложения наших прожектеров, я всегда находил, что они грубо ошибаются в своих расчетах.

Правда, только что родившийся младенец может прожить целый год, питаясь молоком матери, с незначительным прибавлением другой пищи, которая обойдется не больше, чем в два шиллинга. Эту сумму мать, конечно, может добыть или деньгами, или в виде остатков пищи, пользуясь своим законным правом просить милостыню. А по отношению к детям, достигшим года, я именно и предлагаю применить такие меры, благодаря которым они не будут в дальнейшем нуждаться в пище и одежде и не только не станут бременем для своих родителей или для своего прихода, но, напротив, сами будут посильно способствовать тому, чтобы многие тысячи людей получали пищу и, отчасти, одежду.

Другая важная выгода моего проекта заключается еще и в том, что он положит конец добровольным абортам и ужасному обычаю женщин убивать своих незаконных детей (обычай, увы, очень распространенный у нас!). При этом бедные невинные младенцы, несомненно, приносятся в жертву с целью избежать не столько позора, сколько расходов, и это обстоятельство способно исторгнуть слезы из глаз и возбудить сострадание в самом жестоком и бесчеловечном сердце.

Поскольку население нашего королевства насчитывает сейчас полтора миллиона, то, по моим расчетам, среди них может оказаться около двухсот тысяч женщин, способных иметь детей. Из этого числа я вычитаю тридцать тысяч супружеских пар, которые в состоянии прокормить своих детей (хотя я не думаю, чтобы их было так много, учитывая нынешнее трудное положение в королевстве). Но если и допустить, что это так, то все же останется еще сто семьдесят тысяч женщин, способных иметь детей. Я вычитаю еще пятьдесят тысяч женщин, в число которых входят женщины с выкидышами или те женщины, чьи дети умерли от несчастных случаев или болезней на первом году жизни. Остается таким образом сто двадцать тысяч детей, рождающихся ежегодно от бедных родителей.

Возникает вопрос: как вырастить и обеспечить это количество детей? Как я уже сказал, при настоящем положении вещей это совершенно не представляется возможным с помощью тех способов, которые до сих пор предлагались. Ибо

мы не можем найти для них применения ни в ремеслах, ни в сельском хозяйстве.

Мы не строим домов (я имею в виду в деревне) и не возделываем землю. Эти дети крайне редко могут добыть себе пропитание воровством, раньше чем они достигнут шестилетнего возраста, если только они не одарены выдающимися способностями. Впрочем, я должен признать, что они усваивают основы этого занятия гораздо раньше, однако в это время их можно считать только учениками. Как мне сообщило одно ответственное административное лицо из графства Кэйвен, ему не приходилось встречать больше одного-двух случаев воровства в возрасте до шести лет, даже в той части королевства, которая широко известна своими быстрыми успехами в этом искусстве.

Наши купцы убеждали меня в том, что мальчик или девочка в возрасте до двенадцати лет – не ходкий товар; и даже достигнув этого возраста, они оцениваются не выше трех фунтов или самое большее в три фунта, два шиллинга и шесть пенсов. Это не может возместить затраты родителей или государства, так как пища и лохмотья ребенка стоят по крайней мере в четыре раза дороже.

Поэтому я скромно предлагаю на всеобщее рассмотрение свои мысли по этому поводу, которые, как я надеюсь, не вызовут никаких возражений.

Один очень образованный американец, с которым я познакомился в Лондоне, уверил меня, что маленький здоро-

вый годовалый младенец, за которым был надлежащий уход, представляет собою в высшей степени восхитительное и полезное для здоровья кушанье, независимо от того, приготовлено оно в тушеном, жареном, печеном или вареном виде. Я не сомневаюсь, что он также превосходно подойдет и для фрикасе или рагу.

Я беру на себя смелость просить всех обратить внимание и на то обстоятельство, что из учтенных нами ста двадцати тысяч детей двадцать тысяч можно сохранить для дальнейшего воспроизведения потомства, причем только четвертая часть этих младенцев должна быть мужского пола. Это больше, чем обычно оставляется баранов, быков или боровов; я принимаю здесь во внимание, что эти дети редко бывают плодом законного брака (обстоятельство, на которое дикари не обращают особого внимания), и поэтому одного самца будет вполне достаточно, чтобы обслужить четырех самок. Остальные же сто тысяч, достигнув одного года, могут продаваться знатым и богатым лицам по всей стране. Следует только рекомендовать матерям обильно кормить их грудью в течение последнего месяца, с тем чтобы младенцы сделались упитанными и жирными и хорошо годились бы в кушанье для изысканного стола. Из одного ребенка можно приготовить два блюда на обед, если приглашены гости; если же семья обедает одна, то передняя или задняя часть младенца будет вполне приемлемым блюдом, а если еще и приправить его немного перцем или солью, то можно с успехом употреб-

лять его в пищу даже на четвертый день, особенно зимою.

Я рассчитал, что только что родившийся ребенок весит в среднем двенадцать фунтов, а в течение года, при хорошем уходе, достигнет и всех двадцати восьми.

Я согласен, что это будут несколько дорогие блюда и потому подходящие для помещиков, которые, пожрав уже большую часть родителей, по-видимому, имеют полное право и на их потомство <...>

<...> Один искренне любящий свою родину и весьма почтенный человек, добродетели которого я высоко ценю, недавно, разговаривая со мною на эту тему, соизволил внести в мой проект небольшое дополнение. Он сказал, что многие джентльмены нашего королевства за последнее время уничтожили во время охоты почти всех своих оленей, и он полагает, что недостаток оленины можно было бы прекрасно возместить мясом подростков, мальчиков и девочек не старше четырнадцати и не моложе двенадцати лет. Ведь в настоящее время огромному числу людей обоего пола во всех странах грозит голодная смерть из-за отсутствия работы, и родители, если они еще живы, а за неимением их – ближайшие родственники – будут рады избавиться от детей. Но, отдавая должное мнению моего достойнейшего друга и столь славного патриота, я все же должен заметить, что не могу с ним полностью согласиться. Ибо что касается мальчиков, то мой знакомый американец на основании своего богатого опыта

уверял меня, что их мясо обычно бывает жестким и тощим, как у наших школьников от их большой подвижности, и имеет неприятный привкус, а откармливать их было бы слишком невыгодно, так как не оправдало бы расходов. Что же касается девочек, то здесь я осмелюсь высказать свое скромное соображение в том смысле, что это будет все же некоторая утрата для общества, так как они сами вскоре должны будут стать матерями. К тому же весьма вероятно, что некоторые щепетильные люди станут осуждать это мероприятие (хотя, конечно, совершенно несправедливо) как граничащее с жестокостью, что, по моему мнению, всегда является самым серьезным возражением против любого проекта, как бы хороши ни были его конечные цели <...>

<...> Я полагаю, что выгоды моего предложения столь очевидны и многочисленны, что, несомненно, будут признаны в высшей степени важными.

Во-первых, как я уже заметил, проведение его в жизнь значительно уменьшит число католиков, которые из года в год наводняют нашу страну, так как они являются основными производителями детей для нации, а вместе с тем — и нашими самыми опасными врагами. Они нарочно не покидают пределов страны, чтобы отдать королевство во власть претендента, надеясь воспользоваться отсутствием большого количества добрых протестантов, которые предпочли лучше покинуть свое отечество, чем остаться и платить против

своей совести десятину епископальному священнику.

Во-вторых, даже у самых бедных арендаторов найдется теперь хоть какая-нибудь ценная собственность, которую можно будет, согласно закону, описать и тем помочь уплатить ренту помещику, так как хлеб и скот у них уже отняты, а деньги – вещь в наших краях совершенно неизвестная.

В-третьих, так как содержание ста тысяч детей от двух лет и старше не может быть оценено менее чем в десять шиллингов ежегодно за душу, то национальный доход увеличится тем самым на пятьдесят тысяч фунтов в год, не говоря уже о стоимости нового блюда, которое появится на столах наших богатых джентльменов с утонченным гастрономическим вкусом. А деньги будут обращаться только среди нас, так как товар полностью выращивается и производится в нашей стране.

В-четвертых, постоянные производители детей, помимо ежегодного заработка в восемь шиллингов за проданного ребенка, по прошествии первого года будут избавлены от всех забот по его содержанию.

В-пятых, это новое кушанье привлечет много посетителей в таверны, владельцы которых, конечно, постараются достать наилучшие рецепты для приготовления этого блюда самым тонким образом, и в результате их заведения будут посещаться всеми богатыми джентльменами, которые справедливо гордятся своим знанием хорошей кухни, а искусный повар, знающий, как угодить гостям, ухитрится сделать это ку-

шанье таким дорогим, что оно им непременно понравится.

В-шестых, это в значительной степени увеличило бы число браков, к заключению которых все разумные государства или поощряют путем денежных наград, или понуждают насильственно, с помощью законов и карательных мер. Забота и нежность матерей к своим детям значительно возрастут, когда они будут уверены, что общество тем или иным путем обеспечит судьбу бедных младенцев, одновременно давая и самим матерям ежегодную прибыль. Мы были бы свидетелями честного соревнования между замужними женщинами: кто из них доставит на рынок самого жирного ребенка. Мужья стали бы проявлять такую же заботливость к своим женам во время их беременности, как сейчас к своим кобылам, готовым ожеребиться, коровам, готовым отелиться, и свиньям, готовым опороситься; и из боязни выкидыша они не станут колотить своих жен кулаками или пинать ногами (как это часто бывает) <...>

Размышления о палке от метлы

Пер. М. Шерешевской

Эту одинокую палку, что ныне видите вы бесславно лежащей в забытом углу, я некогда знавал цветущим деревом в лесу. Была она полной соков, убрана листьями и украшена ветвями. А ныне тщетно хлопотливое искусство человека пытается соперничать с природой, привязывая пучок увядших прутьев к высохшему обломку. В лучшем случае она являет собою лишь полную противоположность тому, чем была прежде: выкорчеванное дерево – ветви на земле, корни – в воздухе.

Ныне пользуется ею каждая замызганная девка для своей черной работы; и по капризу судьбы она обречена содержать в чистоте другие вещи, сама оставаясь в грязи. А затем, изношенную дотла на службе у горничных, выбрасывают ее вон, либо употребляют ее в последний раз на растопку. И когда я смотрел на нее, то вздохнул и промолвил: истинно, и человек – это палка от метлы. Природа послала его в мир крепким и сильным, был он цветущим, и голова его была покрыта густыми волосами (сей прирожденной порослью этого мыслящего растения). И вот топор излишеств отсек его зеленые ветви, и стал он поблекшим обломком. Тогда он прибегает к искусству и надевает парик, тщеславясь противоестественной копной густо напудренных волос, которые никогда

не росли на его голове. Но, право, если бы наша метла возымела желание выступить перед нами, гордясь похищенным у березы убором, который никогда не украшал ее прежде, вся в пыли, даже если то сор из покоев прелестнейшей дамы, как бы смеялись мы над ней и презирали ее тщеславие, мы – пристрастные судьи собственных достоинств и чужих недостатков!

Но, пожалуй, скажете вы, палка метлы лишь символ дерева, повернутого вниз головой. Подождите, что же такое человек, как не существо, стоящее на голове? Его животные наклонности постоянно одерживают верх над разумными, а голова его пресмыкается во прахе – там, где надлежит быть его каблукам. И все же, при всех своих недостатках, он провозглашает себя великим преобразователем мира и исправителем зла, устранителем всех обид; он копается в каждой грязной дыре естества, извлекая на свет открытые им пороки, и вздымает облака пыли там, где ее прежде не было, вбирая в себя те самые скверны, от которых он мнит очистить мир.

Свои последние дни растрчивает он в рабстве у женщин, и притом наименее достойных. И когда износит себя дотла, то, подобно брату своему, венику, выбрасывается вон либо употребляется на то, чтобы разжечь пламя, у которого могли бы погреться другие.

Мысли о разных предметах, до морали и забавы относящихся⁵

Ежели, прогуливаясь по городу, понаблюдать за выражением людских лиц, то самые веселые обнаружатся, наверное, в катафалках.

Венера, дама поистине очаровательная и приветливая, считается богинею Любви; Юнона же, отвратительная старуха, – хранительницей брака: и так уж повелось, что друг дружку они на дух не переносят.

Говорят, будто Аполлон, бог врачевания, насыляет также и болезни; если уж встарь два эти ремесла шли рука об руку, то сегодня и подавно.

Стариков и кометы чтут по одной и той же причине – и те, и другие имеют длинные бороды и претендуют на способность предсказывать события.

Павсаний говорит где-то об осле, своим ревом помешавшем заговорщикам открыть противнику ворота осажденного города; крик гусей спас когда-то Капитолий, а козни Катилины разрушены были некоей блудницею! Похоже, три эти скотины – единственно чтимые историей свидетели и пророки.

⁵ «Мысли...», отмеченные *, приводятся в переводе С. Дубина, остальные – в переводе М. Беккер. – *Прим. пер.*

Если человек заставляет меня держаться от него подальше, я утешаюсь тем, что он держится подальше от меня.

Какое превосходное наблюдение, говорю я, читая отрывок из сочинения, в котором мнение автора совпадает с моим. Когда же мы расходимся, я утверждаю, что он ошибается.

Немного же публики собрал бы человек, вздумавший сунуть в бочку с порохом раскаленный шомпол, – пусть и брал за то всего по три пенса.

Вопрос: не есть ли церковь усыпальница для мертвых – и спальня для живых?

Лакей должен снимать шляпу перед каждым встречным, и потому у Меркурия, юпитерова лакея, к шапке приделаны крылья.

Ревностью, как и огнем, сподручно укорачивать рога – однако и вонь идет не меньшая.

Провидение – это дар видеть то, что для обычных глаз не видно.

Однажды мне случилось спросить у бедняка, как тому живется; он отвечал: «Как мыло – таю потихоньку».

В Откровении говорится, что сила коней – во рту их и в хвосте. В обычной жизни то же легко сказать о женщинах.

Слонов всегда изображают меньше натуральной величины, блоху же – всегда больше.

Никто не хочет принимать советы, но все хотят принимать деньги. Следовательно, деньги лучше советов.

Будучи в Виндзоре, я сказал милорду Болингброку, что в

башню, где живут фрейлины (которые в то время не отличались красотой), зачастили вороны. «Это потому, что от них воняет падалью», — отвечал милорд.

Донасьен-Альфонс- Франсуа де Сад (1740–1814)

Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы подчинить это многогранное дарование, самые дальние подступы к которому еще только начинают нам открываться, одной лишь внутренней логике данного сборника. Наверное, человечество не создало еще ничего столь же серьезного и значительного – и это при том, что в нашем прекрасном «цивилизованном» обществе над книгами Сада по-прежнему тяготеет табу негласного, но от того не менее тягостного запрета. Потребовалась прозорливость нескольких поколений поэтов, чтобы спасти плоды этого разрушительного ума – мысли маркиза де Сада, «свободнейшего из смертных», по словам Гийома Аполлинера, – от уготованного им человеческим лицемерием непроглядного забвения. Но более всего, пожалуй, нужна была та решимость, с которой вдумчивые, неповерхностные исследователи, преодолевая все возможные предрассудки, попытались раздвинуть рамки обычного восприятия и вынести на свет глубинные устремления маркиза. Именно этому посвятили себя сначала Шарль Анри в анонимной брошюре 1887 года «Правда о маркизе де Саде» (позже он возглавил сорбонскую Лабораторию физиологии ощущений), затем уже в начале века, доктор Эжен

Дюрен («Маркиз де Сад и его время»), и, наконец, с 1912 года и по сей день, г-н Морис Эйн, кропотливые разыскания которого напоминают серию побед торжествующего завоевателя. Именно благодаря ему величие наследия Сада уже ни у кого не вызывает сомнения: в области психологии оно выглядит ближайшим предшественником учения Фрейда и вообще всей современной психопатологии, в плане же общественном с ним связано отмеченное вехами двух революций становление самой настоящей науки о нравах.

Если вспомнить, что на титульном листе рукописи своих «Фаблио» Сад поместил следующий эпиграф: «Во всех литературах Европы не сыскать иной новеллы или романа, где сумеречный, безысходный тон был бы столь явственным и волнующим», его, пусть и эпизодическое, обращение к черному юмору не вызовет, наверное, большого удивления. Буйство воображения, которым Сад в равной степени обязан врожденному таланту и долгим годам тюремного заточения; глухое к любому стороннему голосу, а временами и доходящее до безумия упорство, с которым от подчеркивает ненасытность своих героев, преступников и либертинов, и любовно пестуемое, пусть даже ценой самых невероятных ухищрений, многообразие потворствующих этому распутству обстоятельств, — все это является залогом тому, что, споткнувшись о фразу, крайности которой доведены уж до совершенного абсурда, читатель сможет перевести дух, убедившись, что автор — не из простаков. Потом

вдруг, на мгновение, повествованием вновь овладевает невероятное, и тогда реальность, да, собственно, и само правдоподобие намеренно приносятся ему в жертву. Одним из главных достоинств поэтики Сада является то, что описания социального неравенства и человеческих пороков он помещает на фон знакомых всем и каждому детских страхов и ночных кошмаров, так что временами одно бесповоротно сливается с другим – как, например, в приводимом здесь эпизоде с апеннинским людоедом.

По целому ряду причин саму жизнь Сада можно, пожалуй, считать торжеством того феномена, который мы склонны называть черным юмором. Именно в повседневном существовании он первым подошел к той разновидности зловещей мистификации, от которой уже рукой подать до «забавного смертоубийства», как позже назовет это Жак Ваше, – и, надо признать, сильно за это заплатился. Злодеяния, стоившие ему первых лет тюрьмы, оказались вовсе не так ужасны, как до сих пор полагали, а тот, кого всегда было принято считать ярким противником брака, семьи и вообще бессердечным чудовищем, на деле отважно выступал во времена Террора против смертной казни (как говорят, чтобы спасти от гильотины родственников жены, но, наверное, просто будучи не в силах принять сам принцип узаконенного лишения жизни) и с первого же дня безоговорочно поддержал Революцию, вдохновители которой впоследствии отправят его за решетку. Оказавшись на свободе

после переворота 9 термидора, Сад вновь арестован в 1803 году — на этот раз поводом послужила публикация памфлета против Первого Консула и его окружения; его объявляют сумасшедшим и перевозят из тюрьмы в лечебницу Бисетр, а позже в Шарантонский приют для умалишенных, где он и умирает.

Высшим проявлением черного юмора представляется нам последний абзац завещания Сада, где он, казалось бы, готов предать забвению тот факт, что его убеждения, которые он с нечеловечески мучительной надеждой завещал потомкам, стоили ему двадцати семи лет заключения при трех различных режимах и в одиннадцати разных тюрьмах.

Я запрещаю вскрытие моего тела, что бы ни послужило тому предлогом. Я настойчиво требую, чтобы на протяжении сорока восьми часов его сохраняли в том самом помещении, где я умру, помещенным в деревянный гроб, который допускается закрыть лишь спустя вышеозначенные сорок восемь часов, по истечении оных гроб должен быть заколочен гвоздями; во время этого ожидания следует послать за господином Ленорманом, торговцем лесом в доме 101, бульвар Эгалите, и просить явиться на повозке за моим телом, каковое под его сопровождением перевезти в лес моего владения Мальмезон, в общине Мансе, что под Эперноном, где, согласно моей воле, оно безо всякого подобия церемонии должно быть погребено в первом же густом перелеске, что спра-

ва в означенном лесу, если заезжать со стороны замка по большой аллее. Могилу мою должен выкопать мальмезонский откупщик под наблюдением г-на Ленормана, которому дозволяется оставить тело, лишь убедившись, что оно помещено в настоящую могилу; на данную церемонию он, коли будет на то его воля, может пригласить тех моих друзей и родственников, кои пожелают оказать мне этот последний знак внимания, исключив, однако же, всякий траур. Как только могилу засыплют, поверху следует посеять желудей, дабы впоследствии место не было бы покрыто растительностью, внешний вид леса ничем не нарушен, а малейшие следы моей могилы исчезли бы с лица земли – как, льщу себя надеждой, сотрется из памяти людской и само воспоминание о моей персоне.

Составлено в Шарантон-Сен-Морис, в здравом уме и твердой памяти, 30 января 1806 г.

Д.-А.-Ф. де Сад

Как писал Поль Элюар, «Сад вознамерился вернуть цивилизованному человеку утраченную некогда силу его первобытных инстинктов, а грезы о любви освободить от оков ее повседневных проявлений; он был убежден, что таким и только таким путем способны люди обрести подлинное равенство между собою. Поскольку счастье добродетели – в ней самой, он сделал все, чтобы, унизив ее и растоптав, навязав ей силу высшего несчастья в борьбе с иллюзией и ложью, превратить в подспорье тем, кто добродетелью

обыкновенно угнетен – подспорье в устройении на земле нашей мира, соответствующего истинному величию человека»⁶.

⁶ «Очевидность поэзии». – Прим. А. Бретона.

Жюльетта

«...» Перейдя через вулканическое плато Пьетра-Мала, мы вот уже почти час поднимались по высокой горе справа от него. С ее вершины нашему взору открылось множество расщелин, глубиной до двух тысяч туазов – в одну из них нам и предстояло теперь углубиться. Вся эта местность была покрыта дикими лесами, столь густыми, что с трудом можно было разбирать дорогу. Потратив еще часа три на спуск по отвесной круче, мы оказались на берегу большого озера. Над островком, что стоял на его середине, возвышалась башня того дворца, где располагалось убежище нашего проводника; впрочем, сам дворец был скрыт окружавшими его высокими стенами, и нам была видна только его крыша. Ни одна живая душа не повстречалась нам за последние шесть часов, да и во всей округе нам не попалось ни единого жилища. На берегу нас поджидала барка, черная, словно венецианские гондолы. Лишь подойдя к воде, смогли мы, наконец, разглядеть, в какой огромной котловине оказались: со всех сторон под небеса уходили горные цепи, суровые вершины и склоны которых были покрыты соснами, лиственницами и многолетними дубами. Вряд ли существовало еще на земле место столь унылое и мрачное; казалось, будто мы на самом краю мира. Мы ступили в барку, которую наш великан правил в одиночку. До замка было около трехсот туазов, и скоро нос лодки

ткнулся в железную дверь, устроенную прямо в толще одной из скал, что окружали замок; прямо за этою дверью покато уходил вниз глубокий ров, около шести ступней шириною, через который мы перебрались по мостику, вновь укрывшемся в скале, стоило лишь нам с него сойти; перед нами выросла еще одна стена, ее мы также миновали сквозь железную дверь, и тут нашим взглядам предстали заросли деревьев, настолько плотно стоявших друг к другу, что казалось невозможным продолжать наш путь. Собственно, так оно и было: в этой живой изгороди, где четко различались лишь верхушки дерев, не виднелось ни малейшего отверстия. Посередине этого леса и находилась последняя стена замка, до полутора сажен толщиной. Тогда великан приподнял лежавший рядом огромный камень, который под силу было сдвинуть лишь ему, и внизу мы увидали винтовую лестницу; камень сам собою встал на место у нас над головою, и так вот — по чреву земли — в крошечной тьме мы добрались до самого сердца подземелий этого жилища, куда проникнуть можно было, только сдвинув с места такой же камень, как тот, что закрывал собою вход. И вот уже мы стояли посередь огромной залы с низким потолком, стены которой были сплошь увешаны скелетами; сиденьями здесь также служили кости, так что против воли устраиваться нам пришлось прямо на черепках; из-под земли доносились ужасающие вопли, и позже мы узнали, что именно там, в глубине, и располагались камеры, в которых томились жертвы этого чудовища.

«Знайте, — промолвил он, как только мы расселись, — вы полностью в моей власти, и я могу сделать с вами все, что только пожелаю. Однако ж вам не следует чересчур опасаться — те ваши поступки, коим довелось мне быть свидетелем, слишком отвечают моим собственным наклонностям, чтобы я счел вас недостойными познать и разделить со мной все радости моего уединения. Послушайте мой рассказ — еще есть время до ужина, который нам покамест приготовят.

Я родом из России и появился на свет в одном из маленьких приволжских городков; звать меня Минский. После смерти отца мне достались несметные богатства, и в соответствии с теми милостями, коими одарило меня провидение, природе было угодно развить также и мои физические способности и пристрастия. Прозябание в глуши провинциального захолустья было менее всего сообразно расположению моей натуры, а потому я отправился путешествовать; мир казался слишком тесным для распыравших меня желаний: он ставил мне преграды, я же стремился от них освободиться. Рожденный для распутства, богохульства, бесчинного разврата и кровожадных преступлений, я странствовал лишь для того, чтобы познать пороки человечества, и овладевал ими лишь для того, чтобы довести до совершенства. Начав с Китая, Монголии и ханства диких татар, я объездил весь азиатский континент; добравшись до Камчатки, по знаменитому Берингову проливу я переправился в Америку. Из всех этих земель, будь то владенья дикарей или остров-

ки цивилизации, я выносил только одно – пороки, злодеяния и зверства населявших их народов. Наклонности, которые я неустанно прививал в вашей любимой Европе, были сочтены столь опасными, что в Испании меня приговорили к костру, во Франции – к дыбе, в Англии меня ожидала веревка, а в Италии – суковатая дубина палача; богатства мои, однако же, спасали от любой расправы.

Затем я отправился в Африку и именно там осознал, что те причуды, которые вы в своем безумии склонны клеймить как извращенность, на деле являются лишь естественной потребностью человека, а зачастую так и попросту прямым влиянием тех мест, куда забросила его судьба. Обитатели этой страны, бесстрашные дети солнца, принялись вовсю потешаться надо мной, когда я попытался было раскрыть им глаза на то варварство, коим отличалось обхождение их с женщинами. „По-твоему, что такое женщина, – был мне ответ, – как не домашнее животное, данное нам природой среди прочих для удовлетворения наших потребностей, и вожделений разом? По какому же праву могут они рассчитывать на снисхождение? Их единственное отличие от скотины, которую держим мы на заднем дворе, – продолжали они свои рассуждения, – в том, что зверь если и может заслужить хоть какие-то поблажки покорностью своей и кротким нравом, то женщины за свою неиссякаемую злобу, ложь, за подлость и вероломство достойны лишь кнута, палки и самого варварского обхождения...“

...Я позаимствовал у них эти нравы; объедки, которые вы можете видеть здесь повсюду, — это останки тех созданий, которых я пожираю; питаюсь я исключительно человечиною, и, надеюсь, вам придется по вкусу блюда из этого мяса, коими намерен я вас попотчевать...

...В моем распоряжении два гарема. В первом содержится двести девиц, от пяти до двадцати лет от роду; когда они оказываются достаточно истощены моим беспрестанным развратом и истязаниями, я их поедаю; второй состоит из такого же числа женщин от двадцати до тридцати лет; как обхожусь я с ними, вы увидите чуть позже. Прислуживают всем этим многочисленным объектам моей похоти около пятидесяти лакеев обоего пола, а для пополнения числа невольниц я располагаю сотнею агентов в самых крупных городах мира. Не правда ли, невероятно, что для всех головокружительных перемещений, коих требует мой жизненный уклад, на остров ведет всего одна дорога — та, по которой попали сюда и вы. Меж тем, не сомневайтесь, по этой тайной тропке проходит изрядное количество душ.

Никому не суждено проникнуть за те преграды, которыми я окружил свои владенья, — но совсем не потому, что я чего-либо опасаясь: мы с вами находимся на землях герцога Тосканского, и двор его прекрасно осведомлен обо всех моих бесчинствах, однако деньги, которыми я без счета сыплю здесь направо и налево, служат для меня лучшей охраной.

...Та мебель, которую вы здесь видите, — продолжал наш

гостеприимный хозяин, – может без труда передвигаться по первому же моему повелению: она живая». При этих словах Минский щелкнул пальцами, и огромный стол, стоявший до того в самом углу зала, сам собой переместился на середину; вокруг выстроились пять стульев, а с потолка опустилась пара люстр, повисших прямо над столом. «Нет ничего проще, – заметил великан, призывая нас взглядеться повнимательнее, – вы видите: и стол, и стулья, и даже люстры – все они составлены из нескольких искусным образом расположенных девиц; извольте, кушания с пылу и жару встанут прямо на крестец этих созданий...»

«Но, Минский, – решила я прервать русского, – роль, которую вы отвели этим девушкам, утомительна, в особенности, когда вашим пиршествам случается чрезмерно затянуться». «И что ж с того, – отвечал мне он, – в худшем случае две или три из них попросту околеют – но не хотите же вы, чтобы меня хоть на мгновение занимали эти потери, ведь их так легко восстановить...»

«...Друзья мои, – проговорил Минский, – я предупредил вас, что за моим столом в ходу лишь человеческое мясо; ни в одном из блюд, что стоят сейчас перед вами, нет иного». «Уверяю вас, мы попробуем их все по очереди, – выпалил Сбриганн. – Всякое отвращение абсурдно, и дело лишь в отсутствии привычки; любое мясо создано на потребу человека, именно для того и даровала нам его природа, так что блюдо из человека ничем не отличается от обычной ку-

рятины». С этими словами мой супруг вонзил свою вилку в четверть молоденького мальчика, который ему особенно приглянулся, и, переложив себе на тарелку кусок в добрые пару фунтов, принялся его пожирать. Я поступила так же. Минский служил нам в этом смысле великолепным примером: поскольку аппетит его не уступал прочим пристрастиям, вскоре он опустошил около дюжины тарелок.

Пил Минский так же много, как и ел: dokonчив к последней перемене блюд тридцатую бутылку бургундского, он перешел на шампанское; за десертом подавали алеатико, фалернское и прочие изысканные вина Италии.

* * *

Успех, который пришел к Саду после его смерти – как будто для того, чтобы хоть отчасти восполнить ту чудовищную немилость судьбы, которую познал маркиз при жизни, – состоит не только в целой череде по-настоящему достойных его толкователей, но и в том, что на это иссеченное молниями поле, каким представляется его творчество – поле, способное изменить многие жизни, – по-прежнему приходят самые одаренные изыскатели и открывают там все новые и новые золотые жилы. После того, как в 1940 году нас покинул Морис Эйн – его смерть совпала с двухсотлетним юбилеем самого Сада, – эстафету в этом благородном деле принял Жильбер Лели: его безграничный

интерес к творчеству маркиза и беспредельное усердие поистине расположены под самой счастливой звездой, и он готовится одарить нас множеством неизвестных нам трудов и документов, многие из которых способны пролить новый свет на скрытые до сих пор грани творчества маркиза де Сада. «Орел в образе женщины» – издание, начинающее эту серию публикаций, – заново открывает нам обжигающие истоки его страсти, позволяя проследить, как она зарождается в повседневности. В безумии этого эпизода его жизни, которое достигает своего апогея в приведенном ниже письме, юмор, как мы увидим, играет отнюдь не последнюю роль, особенно в искусстве построения математических операций, обретающих, согласно Саду, свойства сигналов – операций, предстающих, по мнению Жильбера Лели, «своего рода реакцией его внутреннего мира, бессознательным сопротивлением отчаянию, которому разум мог бы уступить без помощи такого отвлекающего средства».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.